

к нам памятников письменности. Здесь новые редакции переводов Четвероевангелия, Апостола, Псалтири, «Служебных миней», гимнографической литературы, «Песни песней», «Слов» Григория Богослова, «Лествицы» Иоанна Лествичника, «Пандектов» Николая Черногорца, «Вопросо-ответов» псевдо-Афанасия, «Жития» Антония Великого, «Жития» Варлаама и Иоасафа, «Синайского патрика», «Слова» Мефодия Патарского и других, а также переводы новых, ранее неизвестных в славянском тексте сочинений Василия Великого, Исаака Сирина, аввы Дорофея, Григория Синаита, Григория Паламы, Симеона Нового Богослова, Иоанна Златоуста и т. д.<sup>1</sup> Особое значение имело появление в XIV в. переводов Дионисия Псевдоареопагита.

Замечательно, что наряду с болгарскими и сербскими переводами с греческого делаются и русские переводы: в Константинополе, на Афоне и непосредственно в России. Переводами с греческого занимался сам митрополит Алексей<sup>2</sup> и многие другие церковные деятели его времени. Преемник Алексея на митрополичьей кафедре Киприан списал в Константинопольском Студийском монастыре «Лествицу» Иоанна Лествичника, а затем в Голенищеве под Москвой «многия святыя книги со греческого языка на русьский язык преложи и довольна списания к пользе нам остави»<sup>3</sup>.

Южнославянское влияние во всех областях письменности создало большое умственное возбуждение. Переписчики, переводчики и писатели работают с огромным усердием, создают новые рукописи, новые переводы, новые произведения, развивают новый стиль в литературе, деятельно пропагандируют новые идеи. Они как бы стремятся заменить новой письменностью всю старую, которая, казалось, перестала удовлетворять новым требованиям. Резкие отличия новых рукописей от старых способствуют распространению новой письменности и чувству неудовлетворенности старой. Происходит обновление состава библиотек.

### Новое литературное движение

Так называемое второе южнославянское влияние принесло с собой новые темы, новые идеи и новый литературный стиль, в

<sup>1</sup> Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв. СПб., 1903. С. 4 и 5. См. также: Вздорнов Г. И. Роль славянских монастырских мастерских письма Константинополя и Афона в развитии книгописания и художественного оформления русских рукописей на рубеже XIV—XV вв. // ТОДРЛ. Т. XXIII. С. 171—198.

<sup>2</sup> Записки Академии наук. Т. XXI. С. 116—117; Голубицкий Е. История русской церкви. Т. II // ЧОИДР. 1900. Кн. I. С. 213—221; Дмитриев Л. А. Роль и значение митрополита Киприана в истории древнерусской литературы.

<sup>3</sup> Книга Степенная царского родословия // ПСРЛ. Т. XXI, ч. 2. 1913. С. 441. То же известно и в других летописях.

которых не без основания можно усматривать отражение всякий общеевропейского Предвозрождения.

XIV век отмечен возрождением письменности и литературы в ряде славянских стран. Литературный подъем намечается не только в Византии, но и в Сербии, и в Болгарии, и на Руси.

Во всех этих странах — в Византии, на Руси, в Сербии и в Болгарии, поддерживавших между собою тесное культурное общение, возникает своеобразное и единое литературное направление<sup>1</sup>. Вырабатывается жанр витиеватых и пышных «похвал», первоначально обращенных к славянским святым, покровительствовавшим победам соотечественников. В Сербии новый стиль сказывается уже в произведениях Доментяна, Феодосия и Даниила. В Болгарии эти первые похвалы составляются Иоанну Рыльскому и Илариону Мегленскому; в России одно из первых произведений этого нового литературного течения посвящено великому организатору Куликовской победы — Дмитрию Донскому (слово «О житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя руськаго»). Оно отчетливо сказывается в житиях Стефана Пермского и Сергия Радонежского, составленных замечательным писателем конца XIV—начала XV в. Епифанием Премудрым. Наконец, новый стиль резко сказывается в переводах исторических произведений (в хронике Манассии, в «Троянской притче» и др.), интерес к которым неизменно растет с общим подъемом национального самосознания русского народа.

Новое литературное движение выработало литературные вкусы, определившие форму и содержание литературных произведений двух ближайших столетий. Оно опиралось на особые работы по грамматике, по стилистике, по выработке сложной книжной литературной речи. Оно было связано с попытками унифицировать орфографию, самый почерк рукописей и с громадной переводческой работой: на славянские языки делаются многочисленные переводы с греческого, пересматриваются и исправляются старые переводы. В результате всей этой огромной совместной работы славянских ученых были выработаны литературные принципы, способные передать пышность, торжественность тем и подъем чувств своего времени.

Новая литературная школа привела к усиленному развитию литературного языка, к усложнению синтаксиса, к появлению многих новых слов, в особенности для выражения отвлеченных понятий. В этом росте литературного языка стираются местные, областные различия и создается конкретная почва для объединения всей русской литературы. С трудами представителей нового лите-

---

<sup>1</sup> О связи сербского нового литературного стиля с русским см.: Mulić Malik: 1) Srpsko «pletenje sloves» do 14 stoljeca. Zagreb, 1963. (Poseban otisk iz 5 Broja «Radova zavoda za slavensku filologiju»); 2) Srpski izvori «pletenja sloves». Zagreb, 1963; 3) Сербские агиографы XIII—XIV вв. и особенности их стиля // ТОДРЛ. Т. XXIII. С. 127—142.

ратурного направления литература и книжность окончательно теряют черты феодально-областной ограниченности и укрепляются ее связи с литературами южных славян.

Для определения сущности второго южнославянского влияния в России большое значение имело бы выяснение философского смысла проникшей на Русь евфимиевской книжной реформы — реформы принципов перевода с греческого, реформы литературного языка, правописания и графики, — произведенной в Болгарии, но распространившейся и в других южнославянских и восточнославянских странах.

К сожалению, мы не имеем теоретических сочинений XIV—XV вв. об этой реформе. О смысле ее мы можем только догадываться. Между тем несомненно, что реформа эта имела очень большое значение в культурной жизни южно- и восточнославянских стран и была, по-видимому, одним из проявлений умственных движений XIV в. Она распространилась с очень большой быстротой, свидетельствуя тем самым о том, что отвечала неким внутренним в ней потребностям, имела для своих современников какой-то важный смысл. Она возбудила усиленную переводческую деятельность, поскольку старые переводы стали считаться неточными. Неудовлетворенность старыми рукописями заставляла интенсивно заниматься их исправлениями, их перепиской с соблюдением новых правил, понуждала ввозить в Россию новые, реформированные рукописи. Перед нами очень крупное явление умственной жизни, смысл которого до сих пор остается недостаточно раскрытым. Судить о смысле реформы болгарского патриарха Евфимия Тырновского мы можем только отчасти, по единственному сочинению ученика его ученика, сербо-болгарского ученого Константина Философа Костенческого. Сочинение это отнюдь не теоретическое, а скорее практическое, но в нем содержались и некоторые общие высказывания<sup>1</sup>.

В учении Константина Костенческого наше внимание прежде всего привлекает тот обостренный интерес, с которым он относится к значению каждого внешнего, формального явления языка и письма. Константин Костенческий исходит из убеждения, что каждая особенность графики, каждая особенность написания, произношения слова имеет свой смысл. Познание для него, как и для многих богословов средневековья, — это выражение мира средствами языка. Слово и сущность для него неразрывны. Отсюда его чрезвычайное беспокойство о каждом случае расхождения

---

<sup>1</sup> Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. СПб., 1896. Наиболее полное изложение содержания сочинения Константина Костенческого содержится в книгах: Kuje w K. M. Konst. Kosteński w literaturze bulgarskiej i serbskiej. Kraków, 1950; Киселков В. Сл. Проуки и очерти по старобългарска литература. София, 1956. С. 266, 303.

между ними, которое может получиться от неправильного написания, от неправильной формы слова. Эти расхождения могут привести к ереси и, во всяком случае, к неправильным воззрениям. Отсюда главной задачей науки он считает создание правильного языка, правильной орфографии, правильного письма. От стремится уничтожить возможные неправильности в языке, орфографии и письме, пытается многочисленными примерами продемонстрировать теснейшую связь внешней формы слова и его значения, показать смысл каждой мельчайшей особенности орфографии и графики. Ереси происходят, по его мнению, от недостатков или излишеств в письме. Его крайне беспокоят все разногласия между списками, и он призывает казнь Божию на тех, кто делает описки в рукописях, или, даже только зная об описках, не «обличает» их. Он исходит из положения, что каждая буква в слове имеет свое значение и способна изменить смысл речи. При этом он пытается видеть особый, внутренний смысл даже в буквах самих по себе, приписывает каждой из них свою индивидуальную роль. Он требует, например, соблюдать в письме строгое различие между *ѣ* и *е*, хотя отличия этих букв в произношении неясны для него самого, и говорит о «естестве» букв. Буква *ъ* для него «совершительная» (то есть конечная), и она препятствует слиянию слов. Он обращает внимание на то, что *ы*, *ь* и *ь* никогда не начинают собою слов, и видит в этом признак их особого существа. Смысловые различия видит Константин между *Ѡ* и *т*, устанавливает различия, присущие *у* и *и*, например в словах «мурный» и «мирный», устанавливает и различает по смыслу пять начертаний буквы *о* и т. д. Большое внимание уделяет он надстрочным знакам, каждый из которых подробно анализируется им в своем «естестве» («оксие», «даси», «вариа», «апостроф», «зернца», «периспомени» и т. д.). Его чрезвычайно озабочивает реальное различие отдельных языков. Он понимает, что различия эти в корне подрывают его систему, и он стремится объяснить их, устанавливая своеобразные антропоморфические отношения языков: языки находятся в родственной зависимости друг от друга и, следовательно, должны в какой-то мере подчиняться своим «родителям». Еврейские «письмена и глаголы» — отцовские, греческие — материнские, славянские — дети. Отсюда необходимость стремиться во всем следовать греческим письменам<sup>1</sup>.

Антропоморфические отношения между языками — существенная сторона мировоззрения Константина. Он сравнивает с людьми не только языки, но и буквы. Согласные — это мужчины, гласные — женщины; первые господствуют, вторые подчиняются. Надстрочные знаки — головные уборы женщин; их неприлично носить мужчинам. Свои головные уборы женщины могут снимать дома в присутствии мужчин: так и гласные могут не иметь надстрочных знаков, если эти гласные сопровождаются согласными.

<sup>1</sup> См.: Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской старины. С. 122.

Соответствие слова и сущности и выводимое отсюда требование абсолютной точности внешней формы слова касалось в представлениях Константина отнюдь не всех языков, а только тех, которые мы могли бы назвать церковными или «священными». Оно касалось языка науки или, что то же в представлениях того времени, языка церкви, священного писания и богослужения. Этот язык, по понятиям средневековья, не мог смешиваться с обыденным, он должен был быть возвышенным, духовным. Литература светская (летописные записи, описания путешествий и т. д.) пользовалась особым литературным языком, близким к языку деловой письменности, но в котором также могла быть своя «литературность», не похожая на литературность церковного языка — языка «церковнославянского». Малейшая неточность в письме, орфографическая неустойчивость в «священном» церковном языке были, с его точки зрения, способны породить ересь; по существу, они были уже сами по себе ересью, ибо между языком и письменностью, с одной стороны, и явлениями мира — с другой, существовала, по мнению Константина, органическая связь. Отсюда стремление Константина Костенческого к буквализму переводов, к полной унификации языка и письма, его многочисленные попытки орфографического разделения значений слов, близких в звуковом отношении.

Требование абсолютной точности (орфографической, языковой и пр.) в передаче текстов священного писания объясняется и общим недоверием Константина к человеческому разуму. С точки зрения Константина, лишь священное писание способно раскрывать истину, поэтому оно именно должно передаваться со всевозможной точностью.

Константин Костенческий не был оригинален в своих воззрениях. Он был учеником ученика патриарха Евфимия Тырновского, а этот последний примыкал к исихастам<sup>1</sup>. Исихасты видели в слове сущность обозначаемого им явления, в имени божьем — самого бога. Поэтому слово, обозначающее священное явление, с точки зрения исихастов, так же священно, как и само явление. Это учение о языке и слове было распространено Евфимием и его учениками и на всю письменность. Вот почему буквализм и дословность пронизывают собой всю переводческую деятельность, ведя к образованию калек с греческого, сложных заимствований синтаксических конструкций и различных неологизмов. Константин Костенческий называет письма «божественными». Они предназначены для божественных истин. Учение исихастов о слове, молчании, божественном свете и имени божьем имело, как известно, неоплатонические корни<sup>2</sup>. По Проклу, имя — энергия

<sup>1</sup> См.: Сырку П. К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке. Т. I. СПб., 1899. Евфимий был близким учеником исихаста Феодосия Тырновского.

<sup>2</sup> О связи философии исихастов с философией Платона и неоплатоников см. в кн.: Сырку П. К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке. Т. I, вып. 1. С. 236—238 и с. 187, примеч. 1. Ср.: Радченко К. Религиозное

сущности, отождествляющая факт и смысл и его выражение. «Неизрекаемое молчание» — исходное начало диалектики слова. Воззрения Константина Костенческого имеют тот же отпечаток «аристократизма», что и весь новый стиль литературы XVI в.: это письменность для избранных, для небольшого числа ученых, и это литература для искушенных в чтении божественного писания<sup>1</sup>. Евфимиевские правила отделяли церковную письменность от деловой точно так же, как стилистические приемы панегирической литературы возвышали ее над обыденной речью. Противопоставляя исправные книги «растленным», Константин утверждал, что первые предназначены для знатоков письменности, а вторые — для невежд. Знатоки будут чувствовать себя стесненными в неисправно написанных книгах, а невежды — в исправных<sup>2</sup>.

Оценивая воззрения Константина Костенческого и реформу Евфимия, надо, кроме того, иметь в виду вообще характерность филологических интересов для Предвозрождения и Возрождения по всей Европе.

Проникший в Россию в XIV в. южнославянский витийственный стиль был основан на том же внимании к филологии и тесно связан с теми же воззрениями на язык, которые лежали в основе евфимиевских реформ. И это отнюдь не противоречит тому, что остальные элементы «плетения словес» появились задолго до евфимиевских реформ, а отдельные положения реформы задолго до «плетения словес»<sup>3</sup>.

Слово, по учению этого времени, было сущностью явлений. Назвать вещи — значило понять их. С этой точки зрения языку (языку церковных писаний) отводилась первенствующая роль в познании мира. Познать явление — значит выразить его словом. Отсюда нетерпимое отношение ко всякого рода ошибкам, разногласиям списков, искажениям в переводах и т. д. Отсюда же чрезвычайная привязанность к буквализму переводов, к цитатам из священного писания, к традиционным формулам, стремление к тому, чтобы словесное выражение вызывало такое же точно настроение, чувство, как и самое явление, стремление создать из письменного произведения своеобразную икону, произведение для поклонения, превращать литературное произведение в молитвенный текст.

«Плетение словес» основано на внимательнейшем отношении к слову: к его звуковой стороне (аллитерация, ассонансы и т. п.), к этимологии слова (сочетания однокоренных слов, этимологичес-

---

и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием. Киев, 1898. С. 123—126.

<sup>1</sup> Вигзелл Ф. Цитаты из книг священного писания в сочинениях Епифания Премудрого // ТОДРЛ. Т. XXVI. 1971. С. 233—243.

<sup>2</sup> Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской старины. С. 123.

<sup>3</sup> О раннем появлении элементов «плетения словес» см.: Мулич М. Сербские агнографы XIII—XIV вв. и особенности их стиля // ТОДРЛ. Т. XXIII. С. 127—142.

ки одинаковые окончания и т. п.), к тонкостям его семантики (сочетания синонимические, тавтологические и пр.), на любви к словесным новообразованиям, составным словам, калькам с греческого и пр. Кальки с греческого образуются из тех же побуждений, которые заставляли переводчиков буквально следовать греческим конструкциям. Поиски слова, нагромождения эпитетов, синонимов исходили из тех же представлений о тождестве слова и сущности божественного писания и божественной благодати, что лежали и в основе реформы. Напряженные поиски эмоциональной выразительности, стремление к экспрессии основывались на убеждении, что житие святого должно отразить частицу его сущности, быть написанным «подобными» словами и вызывать такое же благоговение, какое вызывал и он сам. Отсюда бесконечные сомнения авторов и полные нескрываемой тревоги искания выразительности, экспрессии, адекватной словесной передачи сущности изображаемого.

Стиль второго южнославянского влияния отразился только в «высокой» литературе средневековья, в литературе церковной по преимуществу. Основное, к чему стремятся авторы произведений «высокого» стиля, — это найти общее, абсолютное и вечное в частном, конкретном и временном, «невещественное» в вещественном, христианские истины во всех явлениях жизни. В этом стиле мы можем отметить жажду отвлеченности, стремление к абстрагированию мира, к разрушению его конкретности и материальности, к поискам символических богословских соотношений, и только в формах письменности, не осознававшихся как высокие, — спокойную конкретность и историчность повествования.

Абстрагирование связано с генерализацией описываемых в литературе явлений; конкретизация же — с индивидуализацией их, с подчеркиванием их единичности и неповторимости.

Абстрагирование было свойственно всей средневековой литературе. Оно было свойственно и литературе XI—XIII вв. Правда, это абстрагирование постоянно встречалось с отдельными, частичными противодействиями: элементами реалистичности, типичным для средневековья натурализмом.

Абстрагировались в XI—XIII вв. и эмоции. Они были сведены к нескольким: одним, свойственным добродетельным героям, и другим — отрицательным персонажам. Но когда эти эмоции описывались, то проявления их были, в сущности, только знаками эмоций и при этом знаками не так уж многочисленными, повторяющимися. Знак входит в определенный код, в некую совокупность легко понимаемых читателем литературного произведения обозначений.

Говоря о конкретизации как о противоположности абстрагирующим тенденциям, мы имеем в виду стремление к подчеркиванию материальности, вещности, единичности явлений внешнего мира. Абстрагирующий художественный метод стремится, напротив, выявить в действительности общее вместо единичного, духовное

вместо материального, внутренний, религиозный смысл каждого явления. Абстрагирующие тенденции связаны с «высоким стилем», а эти последние, в свою очередь, определяются церковными сюжетами и мотивами. Абстрагирование может быть поэтому отмечено в житиях и проповедях, в словах и похвалах, но оно отсутствует в летописи — там, где нужна точная регистрация единичных конкретных событий и явлений. Художественное задание определяет выбор средств. В конечном счете характер культуры эпохи определяет и доминирующие особенности стиля как явления литературного выражения. В конце XIV и в XV в. общая для всего средневековья на Руси тенденция к абстрагированию<sup>1</sup> до крайности усиливается в произведениях Елифания Премудрого, Пахомия Серба и др. Но важно и другое: появление своеобразного «абстрактного психологизма».

В конце XIV—XV в. возникает повышенная эмоциональность, но она также в известной мере абстрактна: чувства обобщены, они лишены индивидуальных черт, мало связаны с самими носителями этих чувств, не сочетаются друг с другом, не слагаются в цельную картину душевной жизни литературного персонажа. Характер человека как некая цельность душевных свойств, эмоциональной жизни еще не открыт. В литературу вторгаются бурные эмоции, но нет эмоций индивидуальных, нет их индивидуальных же сочетаний. Человек обобщен, выступает вечно в своих вечных свойствах. Поэтому эмоциональный стиль конца XIV—XV в. не ведет к конкретизации. Он продолжает пользоваться трафаретными словосочетаниями, устойчивыми формулами, а в области содержания (мы можем говорить о «стиле содержания», поскольку самый выбор тем, сюжетов, мотивов также подчиняется стилеобразующим тенденциям) он оперирует немногим набором сильных чувств.

Казалось бы, эмоциональность должна была бы склонять литературное творчество к конкретизации, к психологическому анализу, к «эмоциональной материализации» литературных описаний. Так оно, в сущности, и было, но при этом все же сама эмоциональность абстрагировалась и утрачивала конкретность. Эмоции в той или иной мере часто подменялись «знаками эмоций», их обозначениями. Эмоции подчинялись литературному этикету. Они описывались или упоминались в тех случаях, в которых они были необходимы с точки зрения литературных приличий.

Стиль второго южнославянского влияния определяется художественными задачами, стоявшими перед писателями XIV—XV вв., главным образом перед агиографами. Художественное видение писателей этого времени значительно отличается от предшествующего, особенно в области агиографии, ставшей ведущим

<sup>1</sup> Об абстрагировании см. подробнее: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М.; Л., 1967. С. 109—122. Изд. 2-е. Л., 1971. С. 123—136. Изд. 3-е. Л., 1979. С. 102—111.



жанром эпохи. Это новое художественное видение — прежде всего новое отношение к человеку, сознание ценности его внутренней жизни, его индивидуальных переживаний — и заставляет писателей XIV—XV вв. обращать особое внимание на все стороны эмоционального выражения, на экспрессивность образов и т. д. Но при этом стиль остается по-прежнему абстрагирующим. Познание мира раздвигается, художественные задачи расширяются, статичность описаний предшествующих эпох сменяется крайним динамизмом, но искусство не выходит еще из пределов религиозности и отнюдь не стремится к конкретизации. Поэтому самое характерное и самое значительное явление в изображении людей в житийной литературе XIV—XV вв. — это своеобразный «абстрактный психологизм».

В чем заключается этот «абстрактный психологизм» конца XIV—начала XV в.? Удобнее всего продемонстрировать его на конкретных литературных произведениях.

Для каждой эпохи и для каждого литературного стиля существуют в литературе жанры и писатели, в которых эпоха и ее стиль отражаются наиболее ярко. Для конца XIV—начала XV в. таким самым «типическим» жанром явились жития святых, а наиболее, может быть, типичным писателем — уже неоднократно цитированный нами выше Епифаний, прозванный за свою начитанность и литературное умение «Премудрым». Епифаний долго путешествовал на Востоке, прекрасно знал греческий, а возможно, и другие языки. Начитанность Епифания, отразившаяся в его сочинениях, для древней Руси поразительна. Епифаний отлично знает произведения современной ему и прошлой церковно-учительной, богословской, житийной и исторической литературы. В составленных им «житиях» обильно включены самые разнообразные сведения: географические названия, имена богословов, исторических лиц, ученых, писателей, а также рассуждения о пользе чтения книг.

Цветистую новую литературную манеру Епифаний довел до пределов сложности. Нагромождение стилистических ухищрений иногда подавляет читателя. Для характеристики какого-нибудь качества действующего лица Епифаний подбирает сразу до двух десятков эпитетов, создает новые сложные слова. Он достигает исключительного мастерства в создании ритмической прозы. Вся эта новая стилистическая манера связана у Епифания с новым отношением к человеку, с особым, типичным для его эпохи отношением к человеческой психологии.

Психологические побуждения и переживания, сложное разнообразие человеческих чувств, дурных и хороших, сильных, экспрессивно выраженных, повышенных в своих проявлениях, стали заполнять собою литературные произведения по преимуществу с конца XIV в. и с особой отчетливостью проявились в произведениях Епифания Премудрого.

В центре внимания писателей конца XIV—начала XV в. оказались отдельные психологические состояния человека, его чувства, эмоциональные отклики на события внешнего мира. Но эти чувства, отдельные состояния человеческой души не объединяются еще в характеры. Отдельные проявления психологии изображаются без всякой индивидуализации и не складываются в психологию. Связующее, объединяющее начало — характер человека — еще не открыто. Индивидуальность человека по-прежнему ограничена прямолинейным отнесением ее в одну из двух категорий — добрых или злых, положительных или отрицательных<sup>1</sup>.

Экспрессивный стиль в литературе сталкивается со стилем сдержанным и умиротворенным, отнюдь не шумным и возбужденным, но не менее психологичным, вскрывающим внутреннюю жизнь действующих лиц, полным эмоциональностью, но эмоциональности сдержанной и глубокой.

Если первый, экспрессивный, стиль близок горячему и динамичному творчеству Феофана Грека, то второй стиль, стиль сдержанной эмоциональности, близок вдумчивому творчеству знаменитого русского художника Андрея Рублева.

Ни живописный идеал человека, ни литературный не развивались только в пределах своего искусства. Идеал человека создавался в жизни<sup>2</sup> и находил себе воплощение в литературе и живописи. Этим объясняется то общее, что есть между разными видами искусств в изображении идеальных человеческих свойств.

Стиль эмоциональной умиротворенности был противоположностью экспрессивно-эмоционального стиля в изображении эмоций. Он знаменовал собой как бы возвращение к тишине после шума и преувеличений эмоционального стиля. И он был связан с поисками конкретности. Абстрагирование эмоций воспринималось как их преувеличение, как повышенная экспрессия.

Чем объясняется существование в одну и ту же эпоху эмоционально-экспрессивного стиля и стиля эмоционального умиротворения?

Если говорить в общекультурном плане, то надо сказать, что второй стиль вторичен и по происхождению. Он является как бы продолжением и следствием первого. Стиль экспрессивно-эмоциональный — это своеобразная русская готика, готика, в общем не нашедшая себе такого развития, как на Западе. Готика заключала в себе элементы, предшествующие Возрождению, — динамичность, эмоциональность, хотя и «абстрактную». Стиль же умиротворенной эмоциональности, как мы его условно называем, был ближе к Возрождению. Это как бы второй этап Предвозрождения.

<sup>1</sup> См. подробнее: Лихачев Д. С. Человек в литературе древней Руси. С. 27—69. Изд. 2-е. С. 25—62.

<sup>2</sup> См.: Демина Н. А. Черты героической действительности XIV—XV веков в образах людей Андрея Рублева и художников его круга // ТОДРЛ. Т. XII. 1956.